

# 1. ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

**Е**два я принял это приглашение, как занервничал из-за поездки в Германию. В конце концов, столько лет прошло с тех пор, как я побывал там в последний раз, что уже непонятно, какие воспоминания зашевелиятся во мне, когда я вновь окажусь в этой стране.

Была весна 1988-го — того года, когда в язык вошло слово “перестройка”, — и я сидел в баре гостиницы “Савой” на Фазаненштрассе, осмысляя свой шестьдесят шестой день рождения, до него оставалось всего несколько недель. На столике передо мной стояли бутылка рислинга и бокал, форма которого, как извещала сноска в меню, повторяла форму груди Марии-Антуанетты. Оно было очень хорошо — вино из тех, что подороже в обширном списке отеля, — но от того, что я его заказал, совесть меня не мучила: издатель заверил, что они с удовольствием покроют все мои расходы. Такой уровень щедрости был мне в новинку. Моя писательская карьера, начавшаяся более тридцати пяти лет назад и породившая шесть коротких романов и непродуманный сборник стихов, никогда не была успешной. Ни одна из моих книг не привлекла много читателей,

несмотря на в общем положительные отзывы, да и большого международного расположения не снискала. Однако, к моему громадному удивлению, прошлой осенью меня удостоили значительной литературной награды за мой шестой роман “Трепет”. В кильватере Премии книга продавалась сравнительно неплохо, и ее перевели на многие иностранные языки. Равнодушие, каким обычно встречали мою работу, вскоре сменилось восторгом и критическим изучением, пока литературные страницы спорили друг с дружкой, кому следует воздать должное за мое возрождение. Меня вдруг бросились приглашать на литературные фестивали и звать на книжные гастроли по зарубежным странам. В Берлине происходило одно такое событие — ежемесячные чтения, проводимые “Литературхаусом”\*, — и, хотя я родился в этом городе, дома в нем себя вовсе не чувствовал.

Я вырос неподалеку от Тиргартена, где играл под сенью статуй прусских аристократов. Ребенком частенько бывал в зоопарке и фантазировал, как однажды устроюсь туда зрителем. В шестнадцать я стоял с несколькими своими друзьями по гитлерюгенду, у каждого нарукавная повязка со свастикой, и мы ликовали, когда в самую середку парка от Рейхстага доставили Бегасов памятник Бисмарку: Гитлер тогда планировал “Вельтауптштадт Германия”\*\*. Год спустя я уже стоял один на Унтер-ден-Линден, а тысячи солдат вермахта маршировали перед нами после успешного присоединения Польши. Через десять месяцев после этого я ока-

\* “Literaturhaus” (осн. 1986) — немецкое государственное культурно-образовательное учреждение, пропагандирующее мировую литературу, в Берлине располагается на Фазаненштрассе.

\*\* Рейнгольд Бегас (1831—1911) — немецкий скульптор и художник, чья последняя крупная работа — Национальный памятник Бисмарку, первому рейхсканцлеру Германии. Установлен в 1901 году перед Рейхстагом, а в 1938-м перенесен на площадь Большая Звезда в парке Тиргартен. “Welthauptstadt Germania” (“Столица мира Германия”), проект перестройки Берлина по планам Альберта Шпеера, осуществлявшийся нацистами в 1938—1943 годах ввиду грядущей победы во Второй мировой войне.

зался в третьем ряду митинга в Лустгартене, среди солдат-сверстников, — мы отдавали честь и клялись в верности фюреру, который ревел на нас с помоста, установленного перед собором Тысячелетнего Рейха.

Когда в 1946 году я наконец покинул отечество, меня приняли студентом в Кембридж, где я изучал английскую литературу, а потом провел несколько тягостных лет учителем в местной средней школе; акцент мой стал источником многих насмешек у юнцов, чьим семьям четыре десятка лет вооруженных конфликтов и шатких перемирий между двумя нашими странами нанесли раны и ущерб. По завершении докторантуры, однако, я выиграл место на факультете Кингз-колледжа, где ко мне отнеслись как к некоей диковине: парнягу выволокли из рядов смертоносного тевтонского поколения и приняли в благородную британскую институцию, которая в победе готова была выглядеть великодушной. Не прошло и десятка лет, как меня наделили профессорской ставкой, а надежность и респектабельность, связанные с таким титулом, впервые с детства позволили мне чувствовать себя безопасно и обеспечили дом и положение на весь остаток моих дней.

Тем не менее, когда меня знакомили с новыми людьми — с родителями моих студентов, скажем, или с каким-нибудь заезжим благотворителем, — часто замечалось, что я “также романист”, дополнение для меня как неуклюжее, так и постыдное. Разумеется, я надеялся, что у меня имеется хоть толика таланта, и жаждал более широкой читательской аудитории, но моим обыденным ответом на неизбежный вопрос: “А мне могут быть известны какие-то ваши книги?” — было: “Вероятно, нет”. Как правило, новый знакомый просил меня назвать какие-нибудь мои романы, и я выполнял просьбу, предвидя унижение, наблюдая растерянность на лице собеседника, пока я перечислял свои работы в хронологическом порядке.

В тот вечер — вечер, о котором рассказываю, — мне пришлось трудно в “Литературхаусе”, где я принял участие

в публичном интервью, взятом журналистом из “Ди Цайт”. Поскольку я неуверенно говорил по-немецки — этот язык я почти совсем забыл по приезду в Англию более сорока лет назад, — читать публике вслух главу из моего романа наняли актера, и когда я сообщил ему, какой именно раздел я выбрал, он покачал головой и потребовал, чтобы ему разрешили вместо этого читать из предпоследней главы. Конечно, я с ним поспорил, поскольку в том куске, что он выбрал, содержались откровения, призванные стать сюрпризом для читателя. Нет, стоял на своем я, все больше раздражаясь наглостью этого Гамлета-лишенца, которого в конечном счете наняли просто встать и почитать вслух, а затем уйти через заднюю дверь. Нет, сказал я ему, повысив голос. Не эту. Вот эту.

Актер весьма обиделся. Похоже, у него имелся некий стандарт чтения публике, и был он таким же строгим, какой могла бы стать и его подготовка к вечеру на сцене “Шаубюне”\*. Я же решил, что он просто набивает себе цену, о чем ему прямоком и сказал, — тут мы оба чуть не перешли на крик, что меня расстроило. Наконец он уступил, но без учтивости, а мне знания немецкого хватило, чтобы понять: читал он вполсилы, недобирая той театральности, какая требовалась, чтобы по-настоящему увлечь публику. После, возвращаясь пешком в гостиницу неподалеку, я был разочарован во всей этой затее и мне хотелось домой.

Паренька этого я уже замечал — молодой человек лет двадцати двух разносил напитки по столикам; он был очень красив и, казалось, поглядывал в мою сторону, пока я пил вино. В уме у меня вылепилась поразительная мысль: я притягиваю его физически — пусть даже знал я, что это нелепица. Что уж там, я старик и никогда не бывал особенно привлекателен, даже в его возрасте, когда у большинства

\* “Schaubühne am Lehniner Platz” (“Подмостки на площади Ленинер”) — знаменитый берлинский театр на бульваре Курфюрстендамм, располагается в помещении кинотеатра, выстроенного по проекту архитектора Эриха Мендельсона в 1928 году.

магнетизм юности компенсирует любые физические недостатки. После успеха “Трепета” и последовавшего за этим моего возвышения до литературной знаменитости газетные портреты неизменно описывали мое лицо как “умудренное временем” или “лицо человека, пережившего свою долю невзгод”, хотя спасибо уже на том, что они не знали, насколько невзгоды эти бывали тяжки. Меня, однако, подобные замечания не язвили, поскольку личного тщеславия у меня не имелось и я уже давно отказался от мыслей о романтике. Жажда, грозившая уничтожить меня в юности, за годы поутихла, девственность моя так никому и не покорилась, а облегчение, порожденное отбывтием похоти в ссылке, оказалось сродни тому чувству, какое возникает, быть может, если тебя отвязали от дикой лошади, выпущенной скакать по прерии. Для меня это стало большим благом, поскольку, из года в год соприкасаясь с нескончаемым потоком миловидных юношей, протекающим через лекционные залы Кингз-колледжа, причем некоторые бесстыже со мною заигрывали в надежде получить оценки получше, я поймал себя на том, что равнодушен к их чарам, вульгарным фантазиям или постыдным связям, предпочитая нечто вроде сдержанного добродушия. Я не назначал любимчиков, не выбирал себе протеже и никому не предоставлял причин подозревать в моей педагогической деятельности нечистые помыслы. Поэтому-то мне и оказалось как-то удивительно глядеть на молодого кельнера и ощущать столь пылкое желание к нему.

Наливая еще один бокал вина, я потянулся к сумке, которую оставил рядом со своим стулом, кожаному ранцу, в котором лежали мой дневник и две книги: издание “Трепета” на английском и сигнальный экземпляр романа одного старого друга — эта книга должна была выйти через несколько месяцев. Я продолжил там, где бросил, быть может углубившись в книгу на треть, но поймал себя на том, что мне трудно сосредоточиться. С такой бедой я обычно не сталкивался и потому оторвался от страниц и спросил себя,